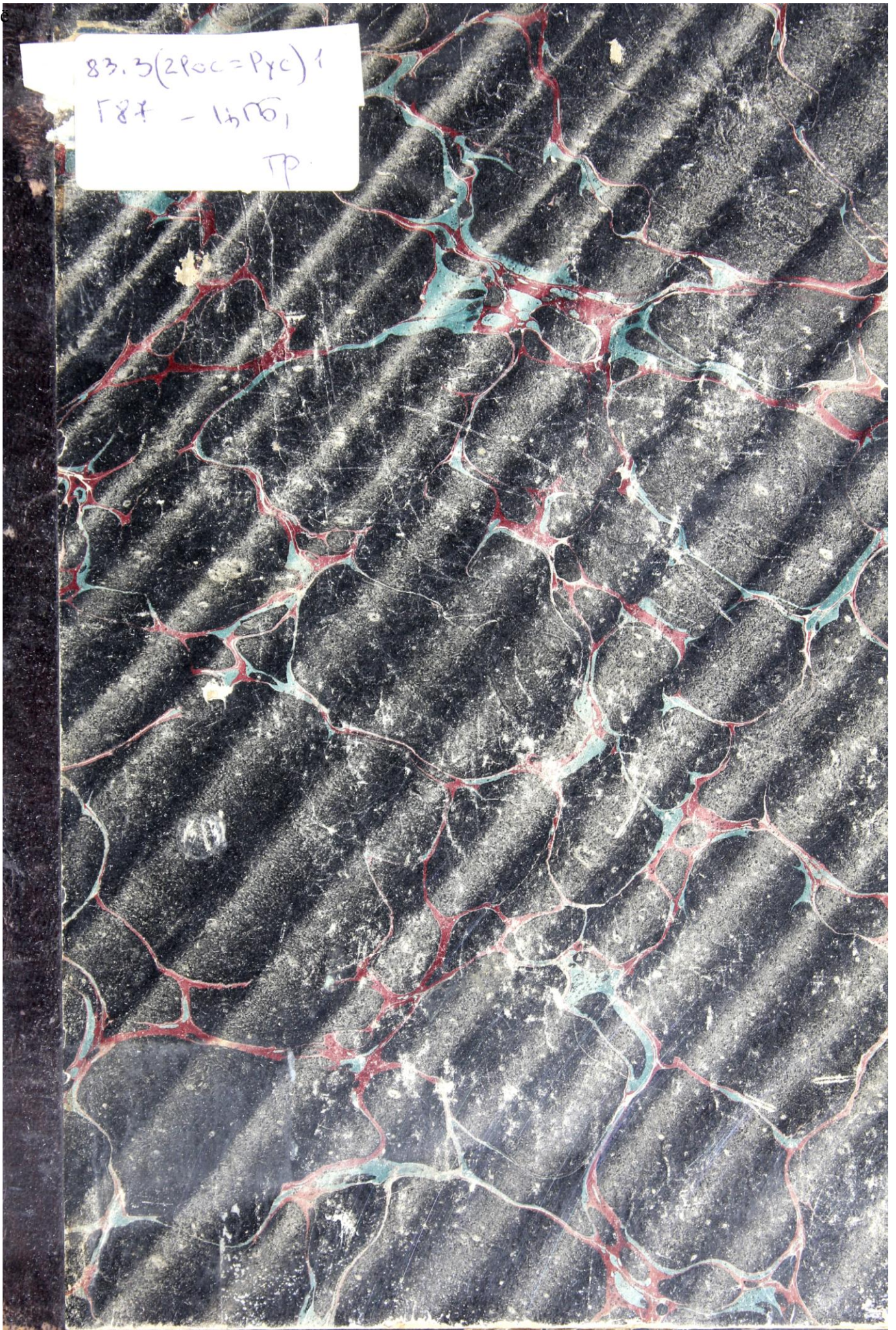


83.3(2Poc=Pyc)1

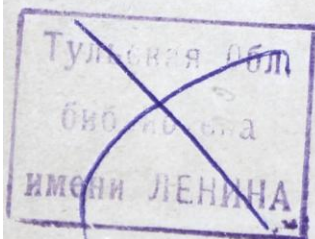
Г84 - 1416,

TP.





ПОСЛѢДНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ
ГРАФА Л. Н. ТОЛСТАГО.



33.3 (2Poc=PyC) 1
Г-84

Послѣднія произведенія

87 ГРАФА Л. Н. ТОЛСТАГО.

КРИТИЧЕСКІЙ ЭТЮДЪ

М. С. Громеки.

Изданіе И. С. Громеки.

МОСКВА.

Типо-литографія И. Н. Кушнерева и К^о, Пименовская ул., домъ Кушнеревой.

МУК «Тульская
библиотечная система»



[1912]

Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстаго.

I.

Послѣдній романъ гр. Л. Н. Толстаго *Анна Каренина* имѣлъ странную участь въ нашей литературѣ и публикѣ, — еще болѣе странную, чѣмъ прежнія произведенія его автора. Не то странно, что романъ во многихъ вызвалъ осужденія, — это бываетъ всегда съ самыми великими произведеніями поэзіи, и долгіе годы должны пройти, пока за созданіемъ художника установится опредѣленное мнѣніе, пока это мнѣніе сдѣлается общимъ и непререкаемымъ достояніемъ, — странно другое: странно, что осужденіе направлено на то, чему осуждающіе, еслибъ они были послѣдовательны, должны бы, напротивъ, сочувствовать. Тенденціозные критики осуждали романъ за его безцѣльное будто бы творчество, за отсутствіе тенденціи, не видя, что всѣ столь поэтически-чудныя страницы *Анны Карениной* перенизаны очень рѣзко звучащей разсудочною тенденціей. Другіе же, не любящіе тенденцій, искали въ романѣ общественной или другой какой-нибудь идеи и нападали на него за его не всегда удачныя тенденціи, проглядѣвъ, изъ-за раздраженія споромъ, его истинную и глубокую идею, за которую могли бы простить автору всѣ второстепенные недостатки. И тѣ, и другіе равно остались недовольны.

Можетъ-быть, отъ нашей современной критики, бѣдность которой ни для кого не составляетъ тайны, и нельзя было, при появленіи произведенія истинно-замѣчательнаго, ожидать ничего кромѣ „печальнаго недоразумѣнія“. Дѣйствительно, перечитывая

теперь, нѣсколько лѣтъ спустя, отзывы важнѣйшихъ органовъ печати о романѣ гр. Толстаго, выносишь до крайности дисгармоническое впечатлѣніе.

Но, вѣдь, за критикой и литературой стояло все читающее общество, котораго мнѣніе, хотя бы и не выраженное, всегда вытекаетъ изъ источника болѣе глубокаго и прозрачнаго, нежели литературныя направленія всякой данной и тѣмъ болѣе нашей, уже разлагающейся, литературной эпохи. А въ отношеніи общества къ *Аннѣ Карениной* также не было полноты сочувствія, и, несмотря на очарованіе ея поэтическихъ картинъ, въ глазахъ большинства *Война и миръ* остается первымъ и высшимъ произведеніемъ гр. Толстаго.

За тѣмъ общественнымъ слоемъ, который питается газетными мнѣніями, былъ еще другой, гораздо болѣе многочисленный, не имѣющій опредѣленной системы мнѣній. Онъ просто принималъ то, что было дѣйствительно хорошо въ романѣ, и просто игнорировалъ то, чему не могъ въ немъ сочувствовать.

Все это произошло, во-первыхъ, потому, что въ романѣ дѣйствительно не было художественной цѣльности, соразмѣрности и единства. Его квазі-антиобщественная тенденція, проведенная иногда съ замѣтнымъ раздраженіемъ и утрировкой, нарушала художественную цѣлостность впечатлѣнія и за непріятно отвлекающимъ тономъ полемики скрывала глубокую и вѣрную идею произведенія такъ далеко, что эта идея для большинства осталась незамѣченною. А множество отдѣльныхъ, по всему роману разбросанныхъ картинокъ, безъ ясной связи съ его основною мыслью, — картинокъ, гдѣ художникъ, казалось, отдавался одной своей страсти къ живописи деталей, — еще помогало впечатлѣнію безцѣльнаго творчества, въ сущности совершенно ошибочному. Такое нестройное соединеніе истинной поэзіи, глубокой, по самой своей возвышенности и оригинальности не всѣмъ доступной идеи, отрывочныхъ увлеченій однимъ мастерствомъ и, наконецъ, сильно импонирующей тенденціи разсудочнаго свойства, — производило дисгармоническое впечатлѣніе и вызывало разно-

образныя обвиненія, большею частью одновременно и вѣрныя, и невѣрныя.

Но была еще и другая, гораздо болѣе общая, причина, поведшая со стороны публики и литературы къ нападкамъ на романъ гр. Толстаго. Дѣло въ томъ, что основныя точки зрѣнія, духъ, направленіе художника оказались слишкомъ далеко отшедшими отъ воззрѣній и умственного склада большинства его читателей. Художникъ творилъ въ направленіи реакціонномъ господствующему. Онъ пошелъ дальше и вѣрнѣе, и потому его созданіе не могло быть понятно вполне, не могло не вызвать въ большинствѣ осужденія и несочувствія. Читающее общество и литература у насъ, какъ и на Западѣ, все еще питаются старой раціоналистическою почвой, а поэзія гр. Л. Толстаго, его идеи и задушевыя симпатіи всѣ вышли изъ источника совсѣмъ инаго—изъ области непосредственнаго чувства. Раціоналистическая критика и поэтический проповѣдникъ непосредственнаго начала, цѣльнаго воззрѣнія на людей, природу и Божество—не могли понять другъ друга: они какъ бы жили въ двухъ частяхъ свѣта и встрѣтиться не могли. Отсюда—осужденіе критики, отсюда также раздражительный тонъ и утрировка самого автора и отсюда его разсудочная тенденція, потому что и онъ все же не могъ безусловно вполне отрѣшиться отъ духа окружающей и, несмотря на носимые ею элементы внутренняго разложенія, все еще фактически господствующей атмосферы. Критика, равно тенденціозная и не тенденціозная, отправляясь отъ одинаковыхъ точекъ зрѣнія, дѣйствовала на одной разсудочной почвѣ и потому, отвергнувъ мелкія тенденціи гр. Толстаго, вовсе не замѣтила его крупной идеи. Критика заявила, что романъ гр. Л. Толстаго не имѣетъ никакого общественнаго содержанія, никакой общественной и потому никакой художественной идеи, наполненъ безцѣльными психологическими изысканіями и не имѣетъ никакого другаго значенія кромѣ отрывковъ изъ записной книжки диллетанта-психолога, и, притомъ, еще въ аристократическомъ тонѣ. И потому критика не поняла, что въ своемъ ро-

манъ гр. Л. Толстой, въ противоположность разсудочной идеѣ современной литературы, выражалъ съ глубокимъ убѣжденіемъ и замѣчательнымъ художественнымъ ясновидѣніемъ идею непосредственнаго и цѣльнаго міросозерцанія, и что эта идея и есть общественная идея романа, а потому и его истинное художественное содержаніе.

Не тамъ только общественная идея, гдѣ говорится объ исправникахъ, о министерствахъ, о земствахъ, о газетахъ, о социалистахъ, обо всѣхъ текущихъ формахъ общественной жизни, но и тамъ также, гдѣ выводится умственный складъ общества, кругъ его нравственныхъ понятій и духовнаго содержанія, изъ котораго выходятъ всѣ эти формы, какъ внѣшнее его выраженіе. И еще болѣе общественной идеи тамъ, гдѣ на мѣсто прежней, обветшавшей, но все еще господствующей идеи жизни предлагается другая, новая, т.-е. въ сущности старая, но давно забытая и потому опять новая, болѣе глубокая и совершенная, которая можетъ исцѣлить и обновить и самыя общественныя формы. Здѣсь надо искать идеи, точекъ зрѣнія, а потому и общественнаго значенія романа гр. Толстаго, и на этомъ полѣ его судить. Но до сихъ поръ его судили и критиковали со всѣхъ точекъ зрѣнія, кромѣ его собственной.

Мы думаемъ, что сущность художественной дѣятельности гр. Л. Толстаго есть проповѣдь враждебнаго раціонализму непосредственнаго воззрѣнія на жизнь. Но мы убѣждены, что если къ цѣльному направленію гр. Л. Толстаго можно примѣнить опредѣленіе реакціоннаго, то лишь въ смыслѣ не регрессивной реакціи, а прогрессивнаго воздѣйствія хотя и старыхъ, но законныхъ и истинныхъ началъ.

Люди долго шли въ направленіи имъ противоположномъ, увлеченные вѣрой въ логическій разумъ, удаляясь отъ цѣлостной связи съ жизнью природы и ея идеей Божества. Они шли по этой дорогѣ очень долго, съ тѣхъ поръ еще какъ схоластики впервые оторвали разсудочную силу отъ непосредственнаго чувства и поставили ее надъ послѣднимъ какъ безапелляціоннаго

судью. Людямъ нужно было пройти очень длинный путь увлеченія своимъ новымъ идеаломъ, отчаянныхъ жертвъ въ честь своего новаго бога, потомъ тоски, разочарованія внутреннею пустотой и разложенія. И теперь, когда большинство все еще самодовольно наслаждается своей поверхностной и легкою мудростью, болѣе глубокія натуры опередили ихъ и раньше увидѣли то, что есть конечный и неизбѣжный результатъ этого quasi-побѣднаго раціонализма; онѣ снова дали непосредственному началу чувства его старое и законное мѣсто въ познаніи истины и, вооруженныя имъ, снова увидали ея неизмѣнныя, вѣчныя формы.

Если прослѣдить одно за другимъ всѣ произведенія гр. Л. Толстаго, то станетъ несомнѣннымъ, что они выражаютъ рядъ фазисовъ именно такой исторіи души ихъ автора. И если посмотрѣть безпристрастно на настроеніе умовъ и въ западной литературѣ, и въ нашей, то необходимо будетъ признать, что, несмотря на увлеченіе большинства новыми формами раціонализма, позитивизмомъ всѣхъ его сортовъ, — количество людей идущихъ далѣе его одностороннихъ результатовъ, вѣрующихъ непосредственно и цѣльно, все возрастаетъ. Гартманъ у нѣмцевъ, Вл. Соловьевъ у насъ — еще очень одиночныя, но уже очень характерныя и знаменательныя явленія. Ихъ спиритуалистическая философія не есть лишь простое выраженіе ихъ личныхъ взглядовъ; она есть выраженіе невольнаго и еще затаеннаго недовольства эпохи ея разсудочнымъ міросозерцаніемъ. Поэтическія произведенія гр. Л. Н. Толстаго выражаютъ именно этотъ моментъ исторіи духа, и это выраженіе есть ихъ высокая, оригинальная и истинная идея, и идея не только философская, но и общественная, потому что она обнимаетъ ту духовную сущность, которая составляетъ основаніе и содержаніе всѣхъ внѣшнихъ формъ современной общественной жизни, потому что явленія гражданской, политической и частной жизни — лишь единичныя выраженія наступившаго момента въ исторіи общественной души, отношеніе же къ общимъ вопросамъ жизни въ ея исторіи играетъ неизмѣримо-важнѣйшую роль, чѣмъ это теперь принято у насъ

думать. Способы рѣшенія этихъ вопросовъ отражаются на нравственныхъ мѣркахъ, на ближайшихъ идеалахъ, на средствахъ къ ихъ достиженію. Они даютъ тонъ всему остальному, а этотъ тонъ дѣлаетъ музыку, теперь такую печальную, кажущуюся безнадёжной.

Вотъ въ этомъ именно смыслѣ мы, противно общепринятому мнѣнію, осмѣливаемся утверждать, что романъ гр. Л. Н. Толстаго имѣетъ идею, и не только идею, но идею возвышенную и истинную не только въ философскомъ значеніи, но имѣющую также и глубокое современное общественное значеніе,—идею общественную.

Въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ лицъ романа и особенно двухъ главныхъ — Левина и Анны — мы постараемся доказать это яснѣе, насколько вещи этого рода доступны доказательству вообще и насколько такія доказательства доступны нашимъ средствамъ.

II.

Графъ Толстой не пишетъ длинныхъ біографическихъ введень къ образамъ своихъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ; онъ не имѣетъ этой слабости, свойственной даже такимъ талантамъ какъ Тургеневъ. Гр. Толстой сразу, безъ предисловій, безъ всякихъ декоративныхъ машинъ, вводитъ насъ въ свой чарующій міръ. Между этимъ міромъ и впечатлѣніемъ читателя нѣтъ никакихъ посредствующихъ приспособленій. Какъ будто мгновенно поднявшаяся занавѣсъ открываетъ полную жизненности и красоты картину, поражающую неожиданностью правды.

Первый разъ мы видимъ Анну въ вагонѣ, когда ее случайно встрѣчаетъ Вронскій,—видимъ всего на нѣсколько минутъ,—но образъ ея такъ полонъ типической красоты, онъ такъ одушевленъ, что быстрота впечатлѣнія не можетъ ослабить его жизненности и силу. Ея индивидуальныя черты выступаютъ такъ быстро и сразу, какъ въ темной комнатѣ на полотнѣ мгновенныя фигуры волшебнаго фонаря. Въ это краткое мгновеніе мы

видимъ на лицѣ Анны оживленнымъ ея характерное выраженіе,—выраженіе той красоты, ищущей и раздающей счастье, которое потомъ уловилъ въ ней художникъ Михайловъ и передалъ въ портретѣ, восхитившемъ Левина.

Но теперь не портретъ, а живая Анна взглянула на Бронскаго.

Да, эта черта жажды счастья и способности возбуждать ее въ другихъ была основаніемъ характера Анны. Оживленная и облагороженная красотою страсть была главнымъ ея свойствомъ. Не долгъ, не идея, не сложные интересы высокаго чувства, не тревожные порывы пытливаго ума, — не это лежало въ основаніи нравственнаго склада Анны. Анна вся была страсть, облеченная въ чарующія формы классически изваянной, строго совершенной тѣлесной красоты,—страсть, смягченная русскою задушевностью и прямою, врожденною честностью натуры и тою чуткостью воспріимчивой души, которая дѣлала ее способною вбирать въ себя лучшее отовсюду. Изъ того свѣтскаго круга, къ которому она внѣшнимъ образомъ примыкала по своему происхожденію и общественному положенію мужа, она взяла тонкую простоту и изящество формъ, свободу и достоинство привычекъ—и осталась чужда его внутренней пустотѣ. Но надъ этимъ сложнымъ, привлекательнымъ соединеніемъ пластической красоты, симпатіи, задушевной искренности и изящества природы преобладала страстность темперамента на эстетически-чувственной основѣ.

Чего-чего только у насъ не говорили объ этомъ прелестномъ, полномъ жизненной правды созданіи гр. Толстаго! Одни, утрируя его мысль, возводили Анну на совсѣмъ не свойственный ей героическій пьедесталъ идеальной русской женщины. Другіе впадали въ противоположную крайность, низводя характеръ Анны до понятія обыденной развратной женщины. Третьи держались безличной середины и считали ее просто взбалмошной и вздорною дамой, самаго обыкновеннаго свойства особой съ расстрепанными чувствами. Въ дѣйствительности же Анна не была

ни тѣмъ, ни другимъ, ни третьимъ. Она просто была страстная женщина, жившая для одной лишь любви и ей принесшая въ жертву семью, общественное положеніе и, наконецъ, самую жизнь. Она была послѣдовательна и цѣльна; въ своемъ основномъ стремленіи она шла до конца, и въ этомъ была ея главная сила. Но страстность натуры была въ то же время и ея слабостью, источникомъ непрочности ея жизни. И она погибла жертвой собственной страсти, безсознательно нарушившей непреложные законы человѣческаго общежитія и нравственности. Очень молодою дѣвушкой она вышла замужъ, по расчету, за человѣка стараго и совсѣмъ не соотвѣтствовавшего ея характеру. Тогда она пренебрегла любовью, не зная, что создана для одной лишь любви, — не зная, что когда страсть въ ней проснется, она разобьетъ ея непрочную и лживую семью и съ нею унесетъ также и ея счастье, и ея жизнь. Завязка ея трагическаго романа лежала не въ случайной встрѣчѣ съ Вронскимъ, а раньше, въ ея замужствѣ съ человѣкомъ ей внутренне чуждымъ, не могшимъ дать ей того что ей было нужно — живой и страстной любви живаго и страстнаго человѣка. Каренинъ былъ типъ теоретика - бюрократа; онъ былъ прекрасный человѣкъ, но совсѣмъ не для Анны. И вотъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ спокойной и безцвѣтной жизни по расчету, когда изъ молодой дѣвушки Анна сдѣлалась женщиной въ цвѣтѣ лѣтъ, пренебреженное раньше страстное стремленіе къ той пылкой и полной любви, для которой она была рождена, въ ней созрѣло и, не удовлетворенное, сдержанное, но не подавленное, придавало всему ея существу ту неотразимую привлекательность, съ какою она является передъ нами впервые въ романѣ. Она тогда привезла съ собою въ Москву инстинктивную жажду настоящаго счастья, и безсознательная красота оживленнаго желанія любви играла на ея лицѣ, „порхала между блестящими глазами и чуть замѣтною улыбкой, изгибавшею ея румяныя губы“. Она въ тотъ моментъ была вся притаившееся желаніе, и избытокъ его „такъ переполнялъ ея существо, что помимо воли выражался то въ блескѣ взгляда, то въ улыбкѣ“. И неясное,

инстинктивное предчувствіе, что ея красота и бьющая черезъ край жизненность дадутъ осуществленіе ея желанію счастья,— это предчувствіе, придавая ей еще большее оживленіе и привлекательность, вносило въ выраженіе ея миловиднаго лица, когда она прошла мимо Вронскаго, что-то особенно ласковое и нѣжное. Когда же глаза ея случайно упали на этого красиваго, молодаго и полнаго чувственной жизни человѣка, таинственный подборъ мгновенно совершился, маленькое зернышко чувства быстро упало на влажную и теплую почву и мгновенно пустило ростокъ. Когда Вронскій, повинувшись очарованію ея нѣжнаго выраженія, оглянулся, ея глаза дружелюбно, внимательно остановились на мгновеніе на его лицѣ, „какъ будто признавая его“. Ласковая улыбка не оставляла Анны во все время краткой встрѣчи ея съ Вронскимъ, когда она обмѣнялась немногими словами съ нимъ и его матерью. Неожиданный случай несчастья со сторожемъ обнаружилъ зародившуюся власть Анны надъ Вронскимъ. Вздволнованнаго и недоумѣвающаго шепота, которымъ Анна спросила, нельзя ли помочь вдовѣ раздавленнаго сторожа, было достаточно, чтобы Вронскій тотчасъ же передалъ вдовѣ двѣсти рублей черезъ начальника станціи, очевидно, не столько изъ состраданія къ несчастной, сколько изъ инстинктивной потребности сдѣлать угодное Аннѣ. И Анна, хотя Вронскій словами не сказалъ ничего и даже скрылъ свой поступокъ, поняла его. Когда Анна садилась въ карету, и братъ, съ удивленіемъ видя, что губы ея дрожать и она съ трудомъ удерживаетъ слезы, спросилъ, чтó съ ней такое, она искренно, можетъ-быть, отвѣтила, что такъ, ничего, дурное предзнаменованіе. Но въ волненіи Анны участвовало впечатлѣніе Вронскаго. Она сейчасъ же спросила брата, давно ли тотъ знакомъ съ Вронскимъ, и услышавъ, что Китти выходитъ за него замужъ, выразила тихое удивленіе; она встряхнула головой, какъ будто хотѣла этимъ помочь внутреннему усилію и изгнать мѣшавшую ея обычному спокойствію путаницу невольныхъ мыслей о Вронскомъ.

Несмотря на то, что Анна весь этотъ день занималась самымъ грустнымъ дѣломъ, мирила своего невѣрнаго брата съ его измучившеюся насѣдкой—Долли, она не выходила изъ своего состоянія оживленія. Все удавалось Аннѣ въ ея возбужденно-поэтическомъ настроеніи, источника котораго она сама ясно не сознавала, и ей было очень легко успокоить Долли и примирить ее съ мужемъ. Никто не могъ избѣжать очарованія при видѣ Анны, и не только Китти, но даже дѣти Долли чувствовали къ ней восторженное влеченіе.

Болтая съ Китти о Вронскомъ, Анна говорила ей все то хорошее, что слышала о немъ, но не сказала о деньгахъ, данныхъ имъ на станціи.

Хваля Вронскаго Китти, которая была въ него влюблена и мечтала сдѣлаться его невѣстой, Анна какъ бы выражала сочувствіе Китти и одобреніе ея мечтъ; но она не могла сказать Китти про эти двѣсти рублей,—ей непріятно было вспомнить объ этомъ. „Она чувствовала, что въ этомъ было что-то касающееся до нея и такое, чего не должно было быть“. Анна перемѣнила разговоръ и встала, какъ показалось Китти, чѣмъ-то недовольная. Она сердилась на тотъ микроскопическій еще зародышъ чувства къ Вронскому, который противъ ея воли и полубезсознательно для нея шевелился въ ея душѣ. Когда въ тотъ же вечеръ она мелькомъ увидѣла Вронскаго на лѣстницѣ, зародышъ задвигался сильнѣе „и странное чувство удовольствія и вмѣстѣ страха чего-то шевельнулось у нея въ сердцѣ“. Въ его выраженіи она замѣтила что-то пристыженное и испуганное, и его странный пріѣздъ, удивившій всѣхъ, всего болѣе страннымъ и нехорошимъ показался Аннѣ.

Черезъ нѣсколько дней былъ балъ, и Анна, стоя въ углу залы, торжествовала надъ всѣми своей изваянною красотой. Неясное чувство недовольства собой и Вронскимъ сказалось въ ней, когда она не отвѣтила на поклонъ подходившаго Вронскаго, умышленно его не замѣчая, но скоро, очень скоро оно замѣнилось восторженнымъ чувствомъ полного успѣха. Она тан-

цовала съ Вронскимъ въ кадрили, и въ ея блистающихъ глазахъ, счастливой улыбкѣ и точности граціозныхъ движеній сказывалось увлеченіе Вронскимъ и его восхищеннымъ поклоненіемъ ей. Они говорили о ничтожныхъ предметахъ, но безсодержательныя бальныя слова звучали для ихъ восхищеннаго слуха поэзіей первыхъ мгновеній пробуждавшейся страсти. Но опьяняющая музыка ихъ словъ и взглядовъ передавала торжество одной лишь Анны: одна Анна была полна счастьемъ,—не она была покорена, а Вронскій. На ея лицѣ было написано счастье успѣха, а на его не было видно ничего, кромѣ покорности и страха.

Но все это было еще инстинктивнымъ и еще не достигало сознанія, иначе Анна не подозвала бы къ себѣ Китти во время мазурки,—ей стало бы жаль ея. Но тогда она не сознавала, тогда она безсознательно слѣдовала жестокому инстинкту женскаго самолюбія и призвала Китти какъ бы для того, чтобы Китти лицомъ къ лицу увидѣла свое пораженіе и торжество Анны.

Но на другой день сознаніе проникло въ ея новое чувство, и Анна, недовольная собой и разстроенная, старалась подавить въ себѣ неопредѣленную неловкость совѣсти въ усиленныхъ заботахъ и приготовленіяхъ къ отъѣзду. Она рѣшила уѣхать раньше, чѣмъ думала прежде, и уѣзжала потому именно, что замѣтила какъ сильно ей хотѣлось остаться, чтобы подольше видѣть Вронскаго, и потому она хотѣла убѣжать отъ своего желанія и болѣе съ Вронскимъ не встрѣчаться.

Совѣсть неопредѣленно ее упрекала, и она почувствовала потребность сдѣлать признаніе Долли, въ которомъ, однако, также инстинктивно старалась себя оправдать. Анна говорила Долли про свои skeletons, „и неожиданно, послѣ слезъ, хитрая, смѣтливая улыбка сморщила ея губы“. Перевѣсь все же оставался на сторонѣ влеченія, а не сознанія и совѣсти. „Но право, право, я не виновата, или виновата немножко“,—сказала она тонкимъ голосомъ, протянувъ слово *немножко*. Долли замѣти-

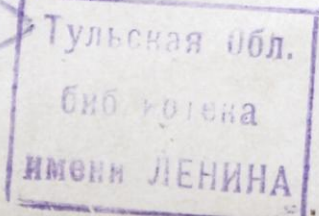
ла, что Анна сказала это совсѣмъ какъ Стива, тѣмъ полупокорнымъ, полухитрымъ тономъ, который какъ бы говорилъ, что хотя увлеченіе и не хорошо, но все же характеръ, полный молодыхъ силъ, долженъ имѣть свободу для своихъ влеченій. Сравненіе со Стивой оскорбило Анну, и она съ негодованіемъ отвѣтила Долли. Но, еще не договоривъ отвѣта, она почувствовала, что онъ несправедливъ: мысль о Вронскомъ приводила ее въ волненіе. Она не могла его преодолѣть, но не могла и отказаться отъ сознательной потребности его побороть. Въ дорогѣ она все боролась и колебалась между этими противурѣчивыми чувствами. Сначала она пробовала читать англійскій романъ, но ей было непріятно читать,—ей слишкомъ хотѣлось самой жить,—и, читая, она переносила на себя всѣ дѣйствія лицъ въ романѣ. И вдругъ ее охватилъ безпричинный стыдъ, слагавшійся въ неясную ассоціацію съ чтеніемъ романа. Но желаніе жизни было такъ полно, что перебивавшее свои воспоминанія сознаніе не могло отыскать опредѣленнаго объясненія чувству стыда, и стыдъ этотъ непонятно для Анны соединялся съ такимъ горячимъ возбужденіемъ жизни, что она „чуть вслухъ не засмѣялась отъ радости, вдругъ безпричинно овладѣвшей ею“. Первое возбужденіе окрашивало всѣ притекавшія извнѣ впечатлѣнія въ свой веселый и фантастическій цвѣтъ. Поѣздъ подошелъ къ станціи, и Анна вышла изъ вагона. Она отворила дверь, и метель и вѣтеръ, рванувшіеся ей на встрѣчу, были полны тѣмъ самымъ возбужденнымъ весельемъ, которое было у Анны. И все, и даже снѣжный, морозный воздухъ, который она вдыхала въ себя полною грудью, и онъ весь былъ сдѣланъ изъ оживленнаго ожиданія жизни и любви, переполнившего сердце у Анны. Буря бушевала, люди весело бѣгали по платформѣ—все въ томъ же тонѣ возбужденія Анны. Какая-то фигура, подойдя, заслонила Аннѣ свѣтъ фонаря, и Анна въ ту же минуту узнала Вронскаго. Не отвѣчая ему, она вглядывалась въ его лицо и узнала прежнее его выраженіе почтительнаго восхищенія. Противурѣчиво ея мыслямъ, но совершенно послѣдовательно ея настроенію,

радостная гордость охватила Анну; она угадала, что привело сюда Вронскаго. И Вронскій сказалъ ей то самое, чего желала ея душа, но чего она боялась разсудкомъ. Неудержимая радость и оживленіе сіяли на ея лицѣ, которому она бессильна была придать строгое выраженіе. Войдя въ вагонъ, она не вспоминала ихъ разговора, но чувство говорило ей, что онъ сблизилъ ихъ, и это одновременно пугало ее и дѣлало счастливою. И ее снова и сильнѣе охватили прежнее радостное напряженіе и жгучія грёзы. Но къ утру Анна задремала, а когда проснулась, поѣздъ подходилъ къ Петербургу; мысли о домѣ, о мужѣ и сынѣ, заботы обыденныя—заняли ее и отвлекли.

Чувственная подкладка ея увлеченія Вронскимъ сейчасъ же, однако, сказала. Черты лица ея мужа физически-непріятно поразили ее прежде всего, особенно уши и упорное выраженіе его усталыхъ глазъ. Тяжелѣе всего было недовольство собой, охватившее Анну при встрѣчѣ съ мужемъ,—недовольство тѣмъ чувствомъ притворства въ отношеніяхъ къ мужу, которое она испытывала и прежде, но не такъ сильно, и не сознавала.

Московскія впечатлѣнія Анны были такъ сильны, что дома даже любимый единственный сынъ вызвалъ въ ней чувство похожее на разочарованіе. Теперь между ея чувствомъ и сыномъ стоялъ Вронскій, и ей теперь показалось, что прежде она воображала сына лучшимъ, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности. Она не знала, что не сынъ, а ея собственное къ нему чувство прежде было лучше, потому что было исключительнѣе.

Привычная обстановка и старыя условія жизни подѣйствовали на нее успокоительно, чувство безпричиннаго стыда и волненіе исчезали, она снова почувствовала себя твердой и безупречной и съ удивленіемъ вспоминала свое недавнее настроеніе, показавшееся ей до того незначительнымъ, что она рѣшила даже не рассказывать о немъ мужу. Вечеромъ она съ удовольствіемъ слушала привычные разговоры мужа, находя, что „все-таки онъ хорошій человѣкъ, правдивый, добрый и замѣча-



тельный въ своей сферѣ“. Анна какъ бы въ сознаніи защищала мужа передъ своимъ безсознательнымъ стремленіемъ чувства, которое обвиняло мужа и говорило, что его нельзя любить. Но инстинктъ былъ сильнѣе сознанія, и какъ ни послѣдовательны были разсужденія Анны, а все же уши мужа поражали ее странно своими размѣрами, и когда Анна передъ сномъ вошла въ спальню, огонь ея улыбки и глазъ былъ спрятанъ и казался потушеннымъ: она шла къ мужу безъ оживленія.

Внутренняя перемѣна Анны повела за собою перемѣну въ ея отношеніяхъ къ свѣту и тѣмъ тремъ главнымъ ярусамъ его, въ которыхъ она бывала прежде. Кругъ исключительно оффиціальнѣйшій совсѣмъ утратилъ для Анны интересъ. Другой кружокъ, черезъ который ея мужъ сдѣлалъ карьеру, — кружокъ старыхъ, некрасивыхъ добродѣтельныхъ женщинъ и умныхъ, ученыхъ и честолюбивыхъ мужчинъ, — сталъ невыносимъ Аннѣ. Это былъ кружокъ ея мужа и потому, въ связи съ ея настроеніемъ, онъ ей опостылѣлъ. Третій кругъ — собственно свѣтъ. Связь ея съ этимъ кругомъ держалась черезъ княгиню Бетси Тверскую, жену ея двоюроднаго брата и кузину Вронскаго. Сначала Анна не любила этого свѣтскаго круга, но теперь она избѣгала остальные и ѣздила къ Бетси и другимъ, гдѣ могла встрѣтить Вронскаго. Она ѣздила туда не потому чтобы любила большой свѣтъ, — нѣтъ, она оставалась ему внутренно чужда; но ея страсть къ Вронскому разрушила ея связь съ кружками мужа и она бывала только тамъ, гдѣ бывалъ Вронскій. Ей казалось, что Вронскій преслѣдуетъ ее, и она не замѣчала, что она сама его ищетъ, какъ сама и увлекла его при первой же встрѣчѣ. Ей казалось, что она не подаетъ ему повода, что она недовольна его преслѣдованіемъ, но она увидѣла скоро, что его преслѣдованіе не только не непріятно ей, но что оно одно составляетъ весь интересъ ея жизни.

Мы встрѣчаемъ ее слѣдующій разъ за чайнымъ столикомъ въ гостиной у Бетси, гдѣ послѣ оперы сидѣлъ весь большой свѣтъ.

Анна пріѣхала сказать Вронскому, чтобъ онъ пересталъ ее преслѣдовать и вернулся въ Китти. „Я никогда ни передъ кѣмъ

не краснѣла, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною въ чемъ-то“, сказала она Вронскому, который смотрѣлъ на нее пораженный новою духовною красотой ея лица. Но это были ея послѣднія отчаянныя усилія противустать ея страсти.

Теперь уже не она торжествовала, а Вронскій. „Если вы любите меня, какъ вы говорите,—прошептала она,—то сдѣлайте чтобъ я была спокойна“. Но въ этой граціозной и трогательной мольбѣ Вронскій былъ способенъ схватить лишь поту отчаянія ея воли, безсильной передъ страстью. Онъ не былъ тронутъ; напротивъ, лицо его просіяло и онъ не съ жалостью, а съ восторгомъ сказалъ ей, что можетъ дать ей не спокойствіе, котораго не видитъ впереди ни для нея, ни для себя, а лишь несчастье или счастье.

Хотя Вронскій говорилъ однѣми губами, но Анна его услышала, и на его настойчиво-восторженный шепотъ, отвергшій ея послѣднюю мольбу, отвѣтила тѣмъ же экстазомъ любви. И съ этого мгновенія она жила одною волей Вронскаго и принадлежала ему безвозвратно.

Анна и Вронскій слишкомъ долго и естественно разговаривали вдали отъ другихъ гостей, и гости сочли это неприличнымъ,—ихъ это стѣсняло. Алексѣй Александровичъ замѣтилъ общее впечатлѣніе и счелъ себя обязаннымъ сдѣлать Аннѣ замѣчаніе. Придумавъ для него слова, Каренинъ сталъ говорить ей, и она, отвѣчая ему, сама удивлялась непроницаемости той брони лжи, въ которую чувствовала себя одѣтою. Она упорно не хотѣла понять мужа, и тотъ понималъ, что душа Анны закрылась для него навсегда. Но нѣкоторое время все наружно оставалось попрежнему. Анна часто ѣздила къ Бетси, встрѣчалась вездѣ съ Вронскимъ; Алексѣй Александровичъ видѣлъ это, но не могъ прекратить, и жилъ въ инстинктивномъ ожиданіи послѣдняго удара.

Когда онъ, наконецъ, разразился, то обрушился прежде всего на самое Анну. Чувственная страсть ея на мгновеніе была удовлетворена, и когда она изъ-за исполненнаго желанія услы-

шала голосъ, сказавшій ей, куда она шла, стыдъ передъ своей духовною наготой овладѣлъ ею. Со страннымъ для Вронскаго выраженіемъ холоднаго отчаянія она разсталась съ нимъ. „Она чувствовала, что въ эту минуту не могла выразить словами чувства стыда, радости и ужаса передъ этимъ вступленіемъ въ новую жизнь“. Но и послѣ она не находила ни словъ для этого сложнаго чувства, ни яснаго сознанія своего новаго положенія. Она думала, что пойметъ все, когда успокоится. Но это спокойствіе уже никогда не наступало. Каждый разъ при воспоминаніи о случившемся на нее находилъ ужасъ, и она отгоняла отъ себя эти мысли. Но во снѣ, когда она не имѣла надъ ними власти, онѣ осаждали и давили ее, и положеніе ея между любовникомъ и мужемъ представлялось ей во всей своей безобразной наготѣ.

Теперь, когда Анна окончательно связала со Вронскимъ свою судьбу, намъ надо взглянуть на него, чтобъ узнать, что онъ былъ и что въ немъ полюбила Анна.

III.

Вронскій былъ невысокій, плотно сложенный брюнетъ, съ добродушно-красивымъ и твердымъ лицомъ. Эта твердость и ровность характера въ немъ особенно поражали другихъ и производили тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что непроницаемая и изящная оболочка твердости скрывала отъ другихъ очень успѣшно весь кругъ его дѣйствительныхъ, незначительныхъ чувствъ. Онъ производилъ впечатлѣніе человѣка, который твердо знаетъ, чего хочетъ, и не ошибается въ средствахъ для своей цѣли. И про него говорили, что онъ далеко пойдетъ. Твердость его была врожденнымъ свойствомъ его характера; она много объяснялась чрезвычайною точностью его воззрѣній, а эта точность вытекала изъ ихъ узкости и условности. На все у него были правила; они были очень относительны и нравственно-ограниченны, но тѣмъ тверже прилагалъ онъ ихъ къ своей жизни. Уже первое впечатлѣ-

тлѣніе Вронскаго непріятно, его изящно-безнравственное отношеніе къ Китти, гдѣ мы впервые видимъ проявленіе его основнаго правила—жить для влеченій и отдаваться имъ, не задумываясь и не разбирая послѣдствій. Онъ жилъ для влеченія своего сильнаго, чувственнаго тѣла и былъ твердо убѣжденъ, что въ этомъ онъ правъ. Когда онъ, увлекшись Анной, сѣлъ въ вагонъ, чтобы преслѣдовать ее, онъ „чувствовалъ, что всѣ его доселѣ распущенныя, разбросанныя силы были собраны въ одно и съ страшною энергіей были направлены къ одной блаженной цѣли. И онъ былъ счастливъ этимъ“. Это совсѣмъ гармонировало съ его нравственными принципами, по которымъ нужно быть только „элегантнымъ, великодушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться каждой страсти не краснѣя и надъ всѣмъ остальнымъ смѣяться,—смѣяться надъ тѣми, кто вѣритъ, что одному мужу надо жить съ одною женою, что дѣвушкѣ надо быть невинною, женщинѣ стыдливою, что надо зарабатывать свой хлѣбъ, платить долги, и разныя тому подобныя глупости“. Въ его увлеченіи Анной сначала было не столько любви, не столько даже чувственной страсти, сколько упрямаго стремленія холодной воли—сдѣлать Анну своею любовницею.

Послѣ описаннаго разговора съ Анной у Бетси, когда Анна такъ ясно сказала ему свою любовь, въ его чувствѣ счастья было не столько нѣжной радости взаимной любви, сколько самолюбиваго торжества, что цѣль, которую онъ преслѣдовалъ съ такимъ долгимъ упорствомъ, наконецъ сама идетъ ему въ руки въ тотъ самый моментъ, когда онъ думалъ, что „не будетъ конца“. Когда въ тотъ же памятный вечеръ, прощаясь, Анна сказала Вронскому, что потому не любитъ слышать въ его устахъ слова о любви, что для нея любовь значить гораздо, гораздо больше, чѣмъ даже онъ можетъ подумать, она говорила правду. Любовь къ Аннѣ была для него не любовь, а то же, что опасная охота, трудная скачка, и онъ такъ волновался отъ напряженія ея, что для успокоенія отвлекалъ свои силы на другую—простую лошадиную скачку. Тотъ же характеръ страстной охоты на крупнаго звѣря, волне-

ніемъ его сильнаго организма удовлетворявшей его склонность къ сильнымъ ощущеніямъ, носила и третья его скачка—скачка честолюбія. У него не было никакихъ политическихъ и общественныхъ идеаловъ, служеніе которымъ могло бы давать энергію, смыслъ и цѣль его дѣятельности и желанію власти. Власть была для него не средствомъ, а цѣлью, и даже не самая власть, обычная цѣль честолюбцевъ, не она его привлекала,—самый процессъ ея достиженія, упорное стремленіе къ ней, возбужденное напряженіе всѣхъ чувствъ. Самый процессъ возбужденія и выдержки энергіи привлекалъ его: онъ искалъ не приза, а самой скачки. Онъ отказался отъ почетнаго назначенія лишь для того, чтобы набить себѣ цѣну, какъ на четырехверстной скачкѣ съ препятствіями онъ сначала далъ Малотину обогнать себя, чтобы тѣмъ вѣрнѣе потомъ опередить его и придти къ столбу первымъ. Такова же была и любовь его къ Аннѣ. Не душа Анны его привлекала,—любовь къ ней не была для него источникомъ идеальныхъ влеченій и внутренняго роста,—но красота ея и полнота ея чувственной страсти сильно его волновали, и онъ любилъ въ ней не душу ея, а источникъ сильныхъ волненій, удесатеренныхъ опасностью интриги и остротой честолюбиваго чувства борьбы съ мнѣніемъ свѣта. Это былъ человѣкъ безъ идеаловъ, но съ сильнымъ организмомъ и волей. Когда нѣтъ идеаловъ, то надо наполнять жизнь волненіями. И Вронскій жилъ только для этихъ волненій. И въ Аннѣ онъ любилъ не иное что какъ свои же волненія, которыхъ красота и страсть Анны требовали въ избыткѣ. Онъ взялъ отъ Анны всѣ волненія, какія она могла ему дать, пресытился ими и отвернулся отъ нихъ. Такова была сущность его характера. Ей нисколько не мѣшали тѣ формы, въ которыя она облакалась для свѣта, и то внѣшнее добродушіе здороваго, богатаго и удовлетвореннаго въ своихъ потребностяхъ человѣка, которое располагало къ нему товарищей и знакомыхъ. Внутри онъ остался тѣмъ, чѣмъ самъ, въ рѣдкія минуты полнаго самосознанія, себя признавалъ. Приставленный къ иностранному принцу, пріѣхавшему въ Петербургъ узнать русскія наці-

ональныя удовольствія—битье посуды и шампанское, Вронскій противъ воли находилъ въ немъ собственныя черты. Принцъ этотъ „былъ очень глупый и очень самоувѣренный, очень здоровый и очень чистоплотный человѣкъ“; больше въ немъ ничего не было, кромѣ привычекъ внѣшней порядочности. „Глупая говядина!... Неужели я такой?“—думалъ Вронскій, вглядываясь въ свое непріятное зеркало. И зеркало говорило ему совершенную правду.

Въ драматизмѣ положенія Анны была та особенность, что ей былъ нуженъ именно такой человѣкъ какъ Вронскій, съ такимъ именно характеромъ и даже съ такимъ именно тономъ отношенія къ ней и ея чувству. Не удовлетворенная въ ранней молодости природа ея утратила равновѣсіе; поздно проснувшаяся потребность страсти явилась въ слишкомъ исключительной формѣ. Цѣлостность ея чувства, несмотря на сохранившуюся цѣлостность характера, была разрушена навсегда. Тотъ естественный ростъ чувства, въ которомъ ровно соединенные элементы страсти и духовныхъ влеченій создаютъ прочную привязанность къ мужчине и гармонирующую ей любовь къ ея дѣтямъ, былъ извращенъ въ ней съ самаго начала ея раннимъ и противуестественнымъ бракомъ съ Каренинымъ, котораго она не любила, и не могла любить. Тотъ міръ интересовъ отвлеченнаго разсудка и материнской любви, въ который ввелъ ее Каренинъ, поглотилъ весь имѣющійся у нея запасъ духовнаго начала; онъ былъ израсходованъ весь и для новой области чувства Анна его уже не имѣла. Но въ этомъ мірѣ отношеній къ Каренину главная пружина ея души—чувственное начало ея страсти—удовлетворено не было, а было только раздражено. Раздраженное и изолированное страстное влеченіе постепенно росло, и когда созрѣло, то обратилось на того, кто какъ разъ къ нему подходилъ—на Вронскаго. Все то, чего не было въ ея мужѣ, все это было въ избыткѣ у Вронскаго, и не только въ избыткѣ, но въ исключительности; и потому ея исключительная, отдѣленная отъ всего духовнаго, страсть на него и обратилась.

Такъ просто, такъ печально-просто совершилось въ душѣ Анны это роковое для нея событіе. Уже по своей сущности, уже по одной главной его чертѣ—по его исключительной чувственности—оно должно было кончиться несчастьемъ. Но неизбежность такого исхода была усугублена развѣдающимъ вліяніемъ несчастья первой семьи и безсильной борьбы съ мнѣніемъ свѣта. И отъ такой двойной неизбежности разбилась жизнь этого прелестнаго, жалкаго въ своей неотразимой прелести существа, и умерла милая Анна, къ которой такъ хорошо идутъ слова романса:

Не называй ее небесной

И отъ земли не отнимай:

Въ ней міръ иной, но міръ прелестный...

Таковы были столкновеніе однѣхъ и разладъ другихъ силъ, приведшихъ Анну къ катастрофѣ. Они такъ характерны, что можетъ-быть не нужно было бы слѣдить за подробностями развязки, еслибы художникъ не облекъ ихъ такою высокою поэзіей и такимъ неподражаемымъ духовнымъ ясновидѣніемъ. Къ тому же интересъ романа Анны не исчерпывается предѣлами ея собственнаго внутренняго міра. Ея драматическая исторія развиваетъ очень глубокую и вѣрную общую идею, обнажаетъ законъ человѣческой природы, который Анна тщетно хотѣла обойти.

Несмотря на всю осторожность Вронскаго и Анны, ихъ отношенія тотчасъ же стали извѣстны всему городу. И тотчасъ общество наложило свою тяжелую руку на ихъ чувства.

Весь свѣтъ, мать, братъ—все были недовольны, а выраженіе ихъ недовольства своимъ вмѣшательствомъ во внутреннюю жизнь Вронскаго оскорбляло его и вызывало въ немъ злобу, отравлявшую его счастье. Инстинктъ не обманывалъ его, подсказывая, что еслибъ его отношенія съ Анной были простою пошлою связью, его все бы оставили въ покоѣ,—что именно серьезность этой связи всеѣмъ непріятна. Страсть, хотя бы и преступная, но искренняя и полная, не подходила подъ тотъ оригинальный кодексъ приличія, замѣняющій нравственность, по кото-

рому дурное осуждается не за то, что оно дурно, и даже не за то, что оно на глазахъ у всѣхъ, а за то, что оно сопровождается влеченіемъ искреннимъ и исключительнымъ. Ничто не должно быть искреннимъ до самозабвенія среди этого круга, живущаго однимъ лишь легкимъ наслажденіемъ, чувство котораго нарушалось зрѣлищемъ истинной страсти, съ ея неподдѣльнымъ счастьемъ, съ ея трагизмомъ въ семьѣ, съ ея горемъ и безвыходнымъ бѣдствіемъ, со всѣми переходами ея слишкомъ яркаго блеска и слишкомъ мрачной тѣни. Но Вронскій, угадывая этотъ именно тонъ осужденія, не зналъ, — вѣрнѣе, забылъ, — что осужденіе сохраняло нѣкоторое подобіе права, нѣкоторое условное право. Членъ клуба, разъ обязавшись исполнять его правила, не долженъ претендовать на учрежденіе, когда несоблюденіемъ его устава вооружаетъ противъ себя остальныхъ сочленовъ. Вронскій былъ человѣкъ свѣта и, увлекшись страстью, долженъ былъ приготовиться испытать отношеніе къ нему свѣта, или же оставить этотъ свѣтъ вовсе.

Такъ онъ и сдѣлалъ впослѣдствіи; но теперь онъ только чувствовалъ оскорбленіе вмѣшательства и осужденія, и горечь этого чувства ложилась на его любовь къ Аннѣ. Теперь онъ переживалъ лишь первые мѣсяцы своей страсти; красота Анны и привлекательная новизна обладанія ею еще легко изгоняли тяжелыя впечатлѣнія. Потомъ они ложились незамѣтными слоями все больше и больше, пока медленно нарастающая тяжесть ихъ не придавила и самое чувство.

Кромѣ тяжести мнѣнія свѣта, еще необходимость и трудность обмана, скрытности и притворства оскорбляли и Вронскаго, и Анну, вызывая въ нихъ мучительное чувство стыда.

Но не одинъ свѣтъ съ его осужденіемъ и не одна неизбежность непривычной лжи нарушали полноту ихъ счастья. За ними скрывались еще болѣе опасныя, еще болѣе непреодолимые подводные камни — отношенія къ несчастному сыну Анны и его отцу, особенно къ сыну, потому что Аннѣ онъ очень былъ дорогъ, а у Вронскаго онъ чаще былъ на глазахъ, чѣмъ самъ Ка-

ренинъ, и объ этомъ несчастномъ мальчикѣ имъ труднѣе было забыть, даже въ горячкѣ ихъ страсти, чѣмъ о жалкомъ, обманутомъ мужѣ. Самое мучительное было то, что мальчикъ инстинктивно чувствовалъ, что ихъ отношенія разрушили семью, которою онъ дышалъ и жилъ, недоумѣвая, какъ въ то же время мать можетъ быть довольна и счастлива этимъ ужаснымъ положеніемъ. Страдальческое недоумѣніе ребенка выражалось въ его робкомъ, испытующе-вопросительномъ, непріязненномъ взглядѣ, и этотъ невинный взглядъ говорилъ влюбленнымъ болѣе ужасныя вещи, чѣмъ осужденіе свѣта и чувство внѣшняго стыда отъ внѣшняго обмана. Онъ вызывалъ, особенно во Вронскомъ, то, казавшееся ему непонятнымъ и безпричиннымъ, чувство омерзѣнія, которое исходило отъ неяснаго голоса совѣсти, протестующей противъ неестественной смѣси любви съ преступленіемъ нравственнаго убійства. Убивалась чистота старой семьи и святыня младенческаго міра Сережи, и инстинктъ совѣсти предъ этимъ духовнымъ уродствомъ наполнялся чувствомъ омерзительно-безобразнаго, которое восторженная поэзія первой страсти могла мгновеніями заслонять, но не уничтожить.

Вся эта сложная, сильно волнующая путаница чувствъ, гдѣ такъ странно мѣшались восхищеніе и любовь со стыдомъ и горечью, особенно ярко выступаетъ въ сценѣ свиданія передъ скачками на дачѣ. Съ представленіемъ объ этой сценѣ такъ живо рисуется въ воображеніи фигура Вронскаго, придерживающаго саблю, осторожно шагающаго по дорожкѣ сада къ террасѣ, думающаго лишь объ одномъ, что вотъ сейчасъ онъ увидитъ Анну, и, изъ-за счастья увидѣть ее живую, забывшаго всѣ горькія и злобой его волновавшія мысли объ отношеніи родныхъ и свѣта къ его любви. Кажется, такъ и видишь Вронскаго, слышишь ускоренный стукъ его сердца, бьющагося волненіемъ восторга и ожиданіемъ счастья. Видишь Анну живую, какъ она, одѣтая въ бѣлое платье, сидѣла, не слыша его, за цвѣтами въ углу террасы и, склонивъ свою чудную голову, прижала лобъ къ холодной лейкѣ и обѣими своими изваянными руками обнимала лейку. Намъ

кажется, что не Вронскій, а мы остановились и съ восхищеніемъ смотримъ на ея неспособную приглядѣться красоту. Мы слышимъ, какъ Анна, почувствовавъ приближеніе Вронскаго, оттолкнула лейку и повернула къ нему свое разгоряченное лицо, — намъ кажется, что мы это не читали, что мы это видѣли сами, что это теперь совершается въ нашихъ глазахъ, и не хотимъ вѣрить, что есть зло, обманъ и несчастіе въ этой чудной картинѣ; намъ жаль думать, что есть хотя что-нибудь дурное въ этой благоухающей предъ нами поэзіи красоты и любви.

Передъ тѣмъ, какъ Анна повернула голову къ Вронскому, она думала все одну и ту же свою постоянную думу: она думала о своемъ счастьи и о своемъ несчастіи, теперь, когда она почувствовала въ себѣ зарожденіе новой жизни, вступившихъ въ еще болѣе твердыя и сложныя формы. Увидѣвъ Вронскаго и глядя на его счастливое, спокойное лицо, она не сразу рѣшилась сказать ему свою тайну, сознавая, что не проститъ ему, если онъ не пойметъ всего ея значенія, и чувствовала, какъ рука ея, игравшая сорваннымъ листомъ, дрожала все сильнѣе и больше. Она сказала, наконецъ, и Вронскій, услышавъ ея два маленькія слова, „поблѣднѣлъ, хотѣлъ что-то сказать, но остановился, выпустилъ ея руку и опустилъ голову. Да, онъ понялъ все значеніе этого событія, подумала она, и благодарно пожала ему руку“. Но она ошиблась, полагая, что онъ понялъ извѣстіе такъ, какъ она его понимала. Его только охватило сильнѣе то знакомое чувство страннаго омерзѣнія, и онъ понялъ, что скрывать ихъ связь отъ мужа больше нельзя и надо выйти изъ этого неестественнаго положенія. Онъ рѣшительно высказалъ, что необходимо кончить ложъ ихъ положенія: ей оставить мужа, объявивъ ему все, и соединить свою жизнь съ Вронскимъ навсегда. Онъ былъ твердо увѣренъ, что теперь это неизбежно, и былъ пораженъ, услышавъ отъ Анны въ отвѣтъ одни слова недоумѣнія и недовѣрія. Онъ предлагалъ ей бѣжать съ нимъ, но она со злобой отвергла эту мысль о бѣгствѣ, которое должно было поставить ее открыто въ положеніе его любовницы и — съ возможностью

чего она еще не могла примириться—погубить ея сына. Она не могла даже сказать этого Вронскому: инстинктъ говорилъ ей, что между сыномъ и Вронскимъ есть что-то исключющее другъ друга, что она не можетъ сказать Вронскому прямо, что не бѣжитъ съ нимъ только изъ-за сына, какъ сыну не могла рассказать о своей любви къ Вронскому. Она не могла отказаться ни отъ того, ни отъ другаго. Она знала въ глубинѣ души, что это несогласимо, но она боялась думать о мгновеніи, когда ужасный выборъ изъ ожиданія сдѣлается фактомъ. Она хотѣла забыться и продлить неопредѣленное положеніе. Она удивляла Вронскаго злобой, проявлявшеюся въ ея голосѣ, когда онъ предлагалъ ей рѣшеніе, клонившееся къ оставленію сына, и она становилась нѣжна и задушевна, чтобъ удержать при себѣ Вронскаго. Въ его любви она видѣла еще пока съ избыткомъ вознаграждающее возмездіе за всю низость и ужасъ ея положенія.

Изъ-за восторга любви они забыли о своемъ положеніи. Но жизнь ихъ не забыла, и ея теченіе скоро разбило въ прахъ ихъ шаткій компромиссъ и приблизило для Анны трагическую развязку ея дилеммы. Еще въ тотъ же вечеръ, на скачкахъ, описаніе которыхъ принадлежитъ къ тѣмъ перламъ романа, въ оцѣнкахъ которыхъ сходятся всѣ, — еще въ тотъ самый вечеръ одно неожиданное, совсѣмъ въ сущности ничтожное происшествіе сняло маску съ Анны и заставило ее объясниться съ мужемъ. Вронскій упалъ съ лошади, сломалъ ей спину неловкимъ движеніемъ, и Аннѣ, съ ея мѣста, показалось, что Вронскій убитъ. Ея лицо, блѣдное и строгое еще тогда, когда она видѣла Вронскаго скачущимъ, было безсильно скрыть теперь ея отчаяніе. Она совершенно потерялась и стала биться какъ пойманная птица, а когда узнала, что ея отчаяніе было напрасно и Вронскій живъ и невредимъ, силы ее оставили и она не могла удерживать рыданій, подымавшихъ ея грудь. Пришло простое человѣческое чувство къ искренней Аннѣ—страхъ за жизнь любимаго человѣка, и мгновенно разбилась личина, которую она носила передъ свѣтомъ и ненавистнымъ ей мужемъ. Притворство было

раскрыто, и длить долѣе обманъ, по крайней мѣрѣ, передъ мужемъ, видѣвшимъ всю эту сцену, было невозможно. Но не только невозможно, и сама Анна была въ тотъ моментъ къ тому неспособна. Она вся полна была заботой о Вронскомъ, а видъ мужа въ каретѣ, его неискренній голосъ и замѣчаніе о неприличіи—все это ее перемогло, и она сама объявила ему о любви и отношеніяхъ своихъ къ Вронскому; несмотря на весь страхъ, она чувствовала неодолимую потребность признанія и прекращенія лжи.

Одна изъ самыхъ симпатичныхъ сторонъ таланта гр. Толстаго—это та, что люди, ихъ чувства и поступки выходятъ изъ-подъ его пера въ той самой пропорціи свѣта и тѣни, изъ которой слагается дѣйствительная жизнь. И теперь, раскрывая намъ душу Анны, когда она, на другой день послѣ скачекъ, проснувшись, подпадаетъ впервые отчаянію при мысли объ ожидающемъ ее позорѣ, когда ей кажется, что уже всѣ о немъ узнали, что сейчасъ придутъ выгонять ее изъ дома и ей некуда будетъ приклонить голову, и она боится взглянуть въ глаза сыну и даже прислугѣ,—гр. Толстой поражаетъ жизненностью своего правдиваго разсказа, чуждаго всякой ложной идеализаціи. Чувство униженія охватило Анну при мысли о томъ, чтобы предложить себя Вронскому, и она отвергла ее съ отвращеніемъ. Почва совсѣмъ исчезла подъ ея ногами, и она первый разъ въ жизни почувствовала, что внутренняя опора правоты и мѣрило добра и зла ее оставили. Она не знала сама, чего она боится и чего желаетъ. Не имѣя духа наказать провинившагося сына, она вышла на террасу, чтобы скрыть отъ него свои слезы, и тамъ, въ холодномъ и ясномъ осеннемъ воздухѣ, въ холодномъ солнцѣ, сквозившемъ сквозь обмытые, блистающіе листья колебавшихся отъ вѣтра осинъ, она поняла, что люди, также какъ эта холодная и чистая природа, не простятъ ей ея преступленія. И опять въ душѣ ея внутренній ужасъ поколебалъ сознаніе и рѣшимость на то, что теперь можно еще сдѣлать, чтобы спасти себя. Оставить мужа и Вронскаго, уѣхать съ сыномъ—одно это, она чувствовала, ей оставалось. Но неожиданное требованіе

мужа, чтобы все наружно оставалось попрежнему, разрушило и эту послѣднюю опору. Думая объ этомъ, Анна неподвижно сидѣла и плакала: мечта ея объ опредѣленіи своего положенія казалась ей разрушенною навсегда. Она думала теперь, что все останется не только попрежнему, но даже хуже прежняго. Она сознавала, что ея положеніе въ свѣтѣ ей дорого и она не будетъ въ силахъ промѣнять его на позорное положеніе женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся съ любовникомъ, что она никогда не испытаетъ свободной любви и навсегда останется преступною женой. Она потомъ переступила черезъ эти, казавшіяся ей теперь непреодолимыми, преграды для свободной любви, но внутренно инстинктъ ее не обманывалъ, и внутренно она не выходила изъ положенія любовницы и ею погибла.

Вронскій тоже не былъ въ то время расположенъ къ энергическому выходу изъ ихъ тягостнаго положенія. Чаша униженія и первой страсти еще не была допита до конца, и послѣдняго толчка, который бы заставилъ ихъ забыть все кругомъ и убѣждать для одной любви,—этого толчка внѣшняя жизнь еще не давала, а внутри себя они его еще не находили. И Анна, и Вронскій—оба не могли сразу покончить съ тѣми привычными интересами жизни, которые лежали въ сторонѣ отъ ихъ любви и удаляли ихъ другъ отъ друга. Анна еще не собралась съ духомъ оставить для Вронскаго свое положеніе въ свѣтѣ, а Вронскій, въ свою очередь, еще не настолько глубоко привязался къ Аннѣ чтобы пожертвовать для нея всею своею карьерой, оставить Петербургъ и выйти изъ полка. Изображеніе всѣхъ ступеней послѣдовательнаго развитія страсти, которая преодолѣла и это внутреннее препятствіе, есть новая заслуга гр. Толстаго, новое проявленіе его глубокаго знанія человѣческой души. Люди рѣдко знаютъ законы своей душевной природы, они всегда склонны думать, что все въ ихъ душѣ такъ же гладко и условно-просто, какъ въ ихъ умѣ: люди сходятся, влюбляются въ другихъ, расходятся съ прежними и соединяются съ новыми привязанностями.

ми,—коротко-де и ясно. Но глубокій психологъ говоритъ имъ: неправда, чувство вырастаетъ не сразу, оно долго борется со множествомъ сложныхъ, враждебныхъ ему силъ и не сразу переходитъ въ дѣйствіе.

У Анны и Вронскаго этотъ моментъ еще не наступилъ, и потому ихъ объясненіе въ саду Вреде ничѣмъ не кончилось. Третье лицо, заинтересованное въ ихъ отношеніяхъ, тоже не желало никакой внѣшней переменѣ. Это былъ несчастный мужъ Анны, Алексѣй Александровичъ. Онъ все надѣялся, что страсть Анны пройдетъ, какъ все проходитъ на свѣтѣ, и въ сохраненіи внѣшней обстановки жизни Анны желалъ оставить ей золотой мостъ для будущаго внутренняго возвращенія въ семью мужа. Онъ требовалъ пока одного — сохраненія приличій и чтобы Вронскій не бывалъ въ его домѣ. Но мы до сихъ поръ еще ничего не говорили о самомъ Каренинѣ, и теперь необходимо на него взглянуть, чтобы опредѣлить его мѣсто въ романѣ Анны.

IV.

Можетъ-быть, для критики характеръ Каренина и значеніе его личности есть самое трудное мѣсто во всемъ романѣ гр. Толстаго. Прежде всего потому, что сочувствіе читателя такъ явно на сторонѣ Анны, что образъ ненавистнаго ей мужа невольно рисуется ему въ несимпатичномъ тонѣ, и ему трудно не только быть справедливымъ, но и понять тѣ глубокія тайны человѣческаго сердца, которыя раскрылъ авторъ въ этомъ лицѣ, составляющемъ художественное созданіе еще болѣе высокой цѣнности, чѣмъ сама Анна. Но не только симпатіи читателя, все вниманіе его направлено исключительно на Анну и лишь бѣгло скользитъ по кажущемуся безцвѣтнымъ и ничтожнымъ лицу ея мужа. Къ тому же читатель—человѣкъ, и, какъ человѣкъ, онъ носитъ въ себѣ ту самую склонность холоднаго, презрительнаго и враждебнаго отношенія къ несчастью внѣшняго униженія и